



НЕТ ОТРАЖЕНИЯ
НЕТ ПОЩАДЫ
НЕТ ВЫХОДА

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО

ГАЛИНА, КРОВЬ МОСКВЫ



Желько Максимович Галина, Кровь Москвы

<https://litres.ru/74273022>

SelfPub; 2026

Аннотация

Галина, журналистка из Москвы, погибает в кафе на Арбате от укуса древнего вампира Эдуарда и воскресает в новом, нечеловеческом облике. Её обращает в вампира Камарилья — закрытый московский клан, где правит Князь. Новообращённая вынуждена учиться контролировать голод, скрывать отсутствие отражения в зеркале и выживать в мире, где вечные делятся на кланы, ведущие теневую войну за территории и власть.

В тексте переплетаются несколько линий: шок и экзистенциальный ужас первых ночей (разбитое зеркало, невидимость, коллективный сон вампиров), первое задание в бане 13 с сенатором-«подписанным» и Аполлинарием Серебряковым, а также встреча с Княгиней Марией — бывшей женой Виктора и лидером «Чистильщиков», тех, кто стремится к миру между людьми и вечными.

Галина проходит путь от пугливого «щенка», едва не убившего первую жертву, до двойного агента, который должен предать своего сира ради возможности разорвать бесконечный круг насилия.

Желько Максимович Галина, Кровь Москвы

Глава 1: Рождение

i. Потолок

Полутёмная комната пахнет пылью и старыми обоями — тем особенным запахом московских квартир, где за десятилетиями наслоились табачный дым, варёная сгущёнка, кошачья моча и чьи-то несбывшиеся надежды. Галина открывает глаза — и первое, что видит, это трещина на потолке, похожая на реку, разветвляющуюся на дельту.

Она лежит на полу, щекой на холодном ламинате, и почему-то это кажется ей правильным — холод, прижимающийся к коже, как старый друг, которого не видела только лет и который за это время стал призраком.

Память приходит не вся сразу, а осколками.

ii. Осколок первый: Арбат, за месяц до того

Они сидели в кафе на Арбате, и за окном шёл снег — крупный, ленивый, тот снег, который бывает только в

Москве и только в декабре, будто город решил, что если уж зима, то пусть все видят. Фонари горели жёлтым, как коша- чьи глаза в темноте переулка.

Он сидел напротив — широкие плечи, бледные руки, сло- женные на столе, улыбка, от которой хотелось одновременно бежать к выходу и остаться навсегда. Она помнит, как он на- клонился через стол, и стул под ним скрипнул — тот особен- ный скрип дешёвого венского стула, который слышен только когда тихо. Его дыхание коснулось её шеи, и кожа там по- крылась мурашками.

— Ты странная, — сказал он. — Ты в курсе?

— В курсе. Это проблема?

— Нет. Это подарок.

Она рассмеялась, и в этом смехе было что-то, чего она са- ма не поняла — не кокетство, не радость, а узнавание. Будто она знала этот голос всегда. Будто он звал её из сна, который она забыла, но тело помнило.

Потом — тишина, будто кто-то выключил звук мира.

iii. Здесь и сейчас

Она садится рывком, и голова не кружится — это первое, что она замечает. Голова не кружится. Тело лёгкое, невесомое, будто кости стали полыми, как у птицы. В комнате полумрак — штора задёрнута неплотно, и свет уличного фонаря просачивается полосой, разрезающей пол надвое, делящей мир на освещённое и тёмное, как страница книги, где чётко видно только то, что попало в луч.

Галина смотрит на свои руки. Они белые. Не бледные — белые, как фарфоровая чашка, которую бабушка хранила в серванте и никогда не использовала, потому что для хороших людей, хотя хорошие люди так и не пришли. Она подносит ладонь к лицу, проводит пальцами по щеке. Кожа гладкая, прохладная. Под ней не бьётся пульс.

Она ищет его — на запястье, на шее, прикладывает руку к груди. Тишина. Ни стука, ни толчка, ни того привычного тук-тук, который сопровождает человека от первого вдоха до последнего.

— Нет, — говорит она вслух, и голос звучит глухо, не её.
— Нет, нет, нет.

Слова падают в комнату, как монеты в пустой колодец — без эха, без отклика. Она произносит их снова, тише, будто

проверяя, есть ли у неё вообще право на отрицание.

Она встаёт. Движения плавные, текучие — тело двигается до того, как мозг отдаёт команду. В зеркале на стене — только трещина на потолке, только кусок обоев с цветочным узором, только смутное пятно света от фонаря. Её нет.

Зеркало показывает комнату пустой.

Галина подходит ближе. Касается пальцами стекла. Холодное. Пустое. Она наклоняется вперёд, почти касаясь носом поверхности, и видит только пыль на раме, только отражение шкафа у стены. Её контур не проступает, её лицо не появляется — будто она стала прозрачной для света, для взгляда, для мира.

Паника поднимается изнутри, как вода из прорванной трубы — внезапно, неудержимо, холодно. Но странно: внутри этой паники, глубоко под ней, она чувствует себя спокойной. Будто часть её всегда знала. Будто где-то в закоулках сознания, в тех тёмных коридорах, куда мы не заглядываем при свете дня, лежало это знание — свёрнутое, как ковёр, ожидающее, когда его развернут.

iv. Осколок второй: детство, подвал

Ей семь лет, и она стоит в подвале бабушкиного дома в Твери. Пахнет сыростью, картошкой, мышами. На полках — банки с огурцами, вареньем, солёными помидорами. Свет лампочки тусклый, жёлтый, едва достаёт до углов.

Она зашла туда в прятки, но никто её не ищет. Она слышит голоса сверху — взрослые говорят о чём-то скучном, о ценах, о политике. Она не нужна им. Она в подвале, одна, и ей страшно, но страх этот сладкий — она знает, что может выйти в любой момент. Дверь не заперта.

Она не выходит. Она стоит и смотрит на тени, дрожащие на стене от качающейся лампочки. Тени танцуют, и ей кажется, что они складываются в лица. Лица с пустыми глазами. Лица, которые смотрят на неё оттуда, где света нет.

— Ты тоже здесь стоишь? — шепчет она в темноту.

Никто не отвечает. Но она чувствует — кто-то есть. За стеной, под полом, в углу, где лампочка не достаёт. Кто-то слушает.

Она выбегает наверх, и бабушка говорит: Что с тобой, Галя? Ты белая как мел.

Галина не отвечает. Она смотрит на свои руки — розовые,

живые, тёплые. И обещает себе, что никогда больше не спустится в подвал.

Но во сне она возвращается туда каждую ночь на протяжении года.

v. Записка

На столе — записка на плотной бумаге. Бумага дорогая, с водяными знаками, пахнет чем-то цветочным и одновременно металлическим, как монета, которую долго держали в руке. Почерк изящный, с завитками — почерк человека, который учился писать в другой эпохе, когда каллиграфия была частью воспитания, а не пережитком:

Добро пожаловать в Камарилью. Князь Московский ждёт встречи. — Примария Дарья.

Примария. Слово кажется знакомым, хотя она его никогда не слышала. Оно перекачивается на языке, как леденец. При-ма-ри-я. Четыре гласных, четыре двери в неизвестность.

Она произносит его вслух, и вдруг комната меняется. Нет, она остаётся той же — те же обои, та же трещина на потолке, та же полоса света. Но качество тишины становится другим. Будто само слово вызвало кого-то из углов, где прячет-

ся тьма.

Рядом — визитка. Чёрный картон, серебряные буквы, которые поблёскивают, когда на них падает свет:

Ночной клуб Кровавая луна, ул. Большая Садовая. Приди на рассвете перед восходом

Рассвет перед восходом. Галина смотрит на часы — 3:47 утра. Она провалялась на полу почти четыре часа. Или не провалялась. Или время работало иначе, пока её тело пере-страивалось из одного состояния в другое, как куколка, превращающаяся в бабочку — если бы бабочка пила кровь и не видела своего отражения.

vi. Шёпот

Она сжимает визитку в пальцах, и картон холодный, почти ледяной. И вдруг она слышит — слышит всё.

Сердцебиение в соседней квартире. Ритмичное, спокойное — кто-то спит, и сон его глубок, без сновидений. Сосед сверху, дядя Миша, который по утрам громко кашляет и слушает радио Маяк. Она знает его голос, знает звук его шагов по паркету, но никогда не думала о том, как звучит его сердце.

Ещё одно — этажом выше, быстрее, взволнованное. Кто-то не может уснуть, ворочается, думает о чём-то тяжёлом. Стук сердца — как барабан перед казнью.

И ещё, и ещё. Десятки сердец. Весь дом. Целый мир сердец.

Каждое из них — пульсирующий источник тепла, запаха, жизни. Она слышит ток крови по венам, шёпот лёгких, урчание желудков. Она слышит, как где-то в квартире на седьмом этаже плачет младенец, и плач этот — не звук, а вибрация, волна, проходящая через стены, через воздух, через неё.

Галина втягивает воздух, и вкус металла наполняет рот. Медь. Железо. Соль. Что-то древнее и знакомое, как запах дождя перед грозой.

Она зажимает рот рукой, прижимается спиной к стене. Холод краски просачивается через тонкую ткань футболки, но она не чувствует его — или чувствует иначе, как информацию, а не ощущение.

Голод приходит не как чувство — как откровение.

Глубокий, древний, он поднимается из позвоночника, из

той его части, которую эволюция оставила нам от рептилий — той, что заведует дыханием, биением сердца, базовыми инстинктами. Он шепчет: возьми. Выпей. Живи.

Но живи теперь значит другое.

vii. Осколок третий: первая кровь

Ей пятнадцать. Лето. Она порезала палец о разбитую бутылку на пляже в Серебряном Бору. Кровь выступила красной бусиной, яркой на фоне загорелой кожи. Она поднесла палец ко рту — машинально, как учат в детстве, — и слизнула.

Вкус был тёплый, солёный, с привкусом металла. Она помнит, как закрыла глаза, и на мгновение — на одно короткое, бесконечное мгновение — мир стал отчётливее. Цвета кислотными. Звуки резкими. Чужой смех на соседнем покрывале — рентгеновским.

Она открыла глаза, и всё прошло. Обычный день. Обычное лето. Девочка с порезанным пальцем.

Но внутри, глубоко-глубоко, что-то щёлкнуло. Замок, о существовании которого она не знала, приоткрылся на волосок.

Потом она забудет этот момент. Вытеснит. Спрячет в тот самый тёмный коридор, где лежало свёрнутое знание. И будет жить дальше, как живут все — не подозревая, что дверь уже не заперта.

viii. Город

За окном — Москва.

Галина подходит к окну, отдёргивает штору. Стекло холодное под пальцами, и она чувствует его структуру — микроскопические неровности, следы чьих-то рук, осевшую копоть от машин. Она видит каждую пылинку на стекле, каждую царапину.

Огни высоток Москвы-Сити горят вдалеке, как свечи на огромном торте, выставленном на витрину. Машины движутся по ТТК — красно-белые потоки фар, атомы в кровеносной системе города. И каждый свет — чья-то жизнь, каждая жизнь — возможность.

Она видит дальше. Лучше.

Люди на ночных улицах — силуэты, спешащие домой, или в гости, или в никуда. Она видит тепло их тел — буквально.

но видит, как ореолы, как огоньки, как свечи, зажжённые в тёмной комнате. Они движутся, и каждый оставляет за собой шлейф — запах духов, выхлопных газов, сигаретного дыма, жизни.

Галина смотрит на город, и ей кажется, что она видит его впервые. Настоящий. Без покрова обыденности, который мы набрасываем на реальность, чтобы не сойти с ума от её величины. Обнажённый. Пульсирующий.

Каждый огонёк — чья-то история. Каждое окно — чей-то сон. Каждый человек — чья-то любовь, чья-то боль, чья-то надежда.

И она может взять это. Стоит только захотеть.

Голод поднимается снова, и она отворачивается от окна, чтобы не видеть. Но запахи уже проникли в комнату — сквозь щели в рамах, сквозь микротрещины в стенах. Запах жизни.

Она не знает, сколько стоит у окна. Время теперь течёт иначе — не линейно, а слоями, как патока. Минуты длятся часами, часы пролетают минутами. Она смотрит на луну — полную, белую, бездонную — и понимает, что видит её иначе. Не как небесное тело, а как источник. Как что-то, что тя-

нет её к себе, как прилив тянет воду.

ix. Звонок

Мобильный вибрирует на столе. Звук — резкий, непривычный, разрывающий тишину. Галина смотрит на телефон, и видит его иначе — не как предмет, а как скопление сигналов, радиоволн, проходящих сквозь тело. Она могла бы, наверное, ответить без рук, если бы знала как.

Номер неизвестен, но она знает, кто звонит. Знает до того, как берёт трубку.

— Ты ещё жива? — голос женский, холодный, командующий.

Пауза.

— Хорошо. Ты собственность Камарилы теперь. Наш князь хочет познакомиться.

Короткие гудки.

Галина смотрит на телефон, и вдруг ей хочется смеяться. Истерически, безудержно, до слёз, которых у неё больше нет — слёзные протоки пересохли, тело больше не производит

влагу.

Ты ещё жива?

Хороший вопрос. Философский. Она подносит руку к груди — тишина. Смотрит в зеркало — пустота. Слушает кровь в венах — застывшую, спокойную, как озеро зимой.

Но она есть. Она здесь. Она сжимает визитку, и картон мнётся под пальцами — значит, она существует. Значит, она может влиять на материю. Значит, она — не сон.

х. Осколок четвёртый: он

Его звали... она не помнит его имени.

В этом есть что-то чудовищное. Она помнит его руки — длинные пальцы, аккуратные ногти, родинка на левом запястье. Помнит его голос — низкий, с хрипотцой, картавый р. Помнит, как он пил кофе — без сахара, маленькими глотками, глядя куда-то сквозь неё, будто читал текст, написанный у неё за спиной.

Но имени не помнит.

Может, он его и не называл. Может, в том и была вся

хитрость — войти в жизнь человека без имени, чтобы не оставить следов. Безымянный даритель смерти. Анонимный жнец.

Она помнит последний вечер. Его губы у её шеи. Шёпот. Не бойся. Укус — не боль, а давление, будто кто-то надавил на сонную артерию. И потом — тепло, разливающееся по телу, как горячий чай. Сладость, от которой подгибаются колени.

А потом — пустота.

Тьма, в которой не было ничего. Ни снов, ни мыслей, ни чувств. Просто — отсутствие. И она плавала в этом отсутствии, пока кто-то не вытащил её за шкурку, как котёнка из проруби, и не швырнул обратно в мир.

xi. Трещина

Галина снова смотрит на потолок. Трещина — как карта реки, как система кровообращения, как сеть корней. Она тянется от угла к центру, разветвляется на три рукава, один из которых упирается в люстру.

Она могла бы, наверное, проследить эту трещину до самого начала. Где-то там, в микроскопическом сдвиге фунда-

мента, в проседании грунта, в движении тектонических плит под Москвой, зародилось это — линия разлома, которая теперь пересекает её жизнь. Буквально. Потолок над её головой треснул в ту же ночь, когда она умерла — или родилась, в зависимости от того, как считать.

Она думает о трещинах.

О трещине в чашке, из которой пил чай её отец — маленькая, почти незаметная, но чай всегда протекал на скатерть. О трещине на асфальте во дворе, через которую прорастала трава каждую весну. О трещине в голосе матери, когда та говорила об ушедшем отце.

Трещина — это не конец. Это место, где что-то новое может войти.

xii. Собственность

Слово звенит в голове, как колокол.

Собственность.

Она — собственность. Не человек, не гражданка, не Галина — а вещь, принадлежащая чему-то под названием Камарилья. Она представляет себе Камарилью как большую тём-

ную комнату, где сидят люди в старинных костюмах и пересчитывают таких, как она, как монеты.

Собственность.

Она сжимает и разжимает кулак. Смотрит, как двигаются мышцы под белой, как у мраморной статуи, кожей. Она сильна. Она чувствует это — сила течёт по телу, как река подо льдом. Толчок — и дверь слетит с петель. Рывок — и она пробежит километр за минуту.

Но она — собственность.

Как странно: стать чем-то большим, чем человек, и в тот же момент стать чем-то меньшим. Как странно: обрести бессмертие и потерять себя.

xiii. Выход

Галина надевает пальто — то самое, в котором была вчера (сегодня? когда?), и оно кажется лёгким, почти невесомым. В кармане — визитка и записка. Она смотрит на квартиру в последний раз. Трещина на потолке. Пустое зеркало. Полоса света на полу.

Она выходит в коридор, и свет в подъезде зажигается —

датчик движения срабатывает на её шаги. Она спускается по лестнице, и каждый шаг — откровение. Ступени пахнут застарелой грязью, окурками, дешёвым освежителем воздуха. Обои в подъезде — зелёные, с цветами, какие были популярны в девяностых. Она никогда их не замечала. Теперь они — произведение искусства, каждый цветок отдельно, каждый лепесток, каждый оттенок зелёного, от бутылочного до изумрудного.

На первом этаже — зеркало в полный рост, зачем-то прикрученное к стене возле почтовых ящиков. Она проходит мимо, и зеркало показывает только лестницу, только зелёные обои, только грязный пол.

Она не смотрит в него. Выходит, на улицу, и ночной воздух обнимает её — свежий, морозный, пахнущий бензином и снегом. Москва спит, Москва дышит, Москва бьётся миллионами сердец вокруг.

Галина поднимает голову к небу. Луна — полная, бездонная. Звёзды — резкие, как булавочные уколы на чёрном бархате.

Она делает шаг, и город открывается перед ней, как раскрытая книга, как старая рана, как первая страница истории, которую она никогда не думала, что будет писать.

xiv. Осколок последний: до

До всего этого — за три дня до встречи с ним — она стояла на мосту через Москву-реку и смотрела на воду. Вода была тёмной, маслянистой, отражала огни набережной. Она думала о своей жизни — двадцать семь лет, работа в редакции, съёмная квартира, раз в год отпуск в Турции, кофе по утрам, пицца по пятницам.

Она думала: неужели это всё?

Неужели жизнь — это просто длинная прямая линия от рождения к смерти, с редкими поворотами и никаких развилок?

Она смотрела на воду, и ей казалось, что река — это время, а она — лист, плывущий по течению. Лист, который хочет, чтобы его выбросило на берег, в какую-нибудь другую жизнь, где всё будет иначе.

Будь осторожна со своими желаниями.

Она не знала тогда, что река слышит. Не знала, что в Москве есть места, где вода помнит всё — каждое тело, каждую монетку, каждое обещание, брошенное в тёмную гладь.

Она не знала, что желание — это тоже приглашение.

А теперь она стоит на пороге этого приглашения, с пустым зеркалом за спиной и вечностью впереди, и думает: что я наделала?

Но ответа нет. Только ветер, дующий с Москвы-реки, только шум машин на ТТК, только биение сердец — близких, далёких, возможных, запретных.

И первый шаг в новую жизнь.

Которую она не выбирала.

Которая выбрала её.

Глава 5: Дарья

i. Крыша

Дарья стоит на крыше высотки на Большой Садовой, и ветер треплет её волосы — длинные, чёрные, с первой сединой на висках. Седину она могла бы убрать — одной мыслью, одним усилием воли, как убирают морщины другие вампиры её возраста. Но она оставляет. Седина — это свидетельство.

Доказательство того, что она была живой, что время имело над нею власть, пусть и недолгую.

Внизу — клуб Кровавая луна. Неон пульсирует в такт музыке, басы вибрируют в стенах здания, в асфальте, в её собственных костях, которые помнят вибрацию иначе — скрип половиц в дачном доме, гул трактора в полях, треск радиоприёмника Спидола. Тридцать девять лет она служит Камарилье. Тридцать девять лет она — примария, правая рука князя, та, кто встречает новорождённых и объясняет им правила новой реальности.

Она помнит каждое лицо.

ii. Осколок первый: Иван, 1987

Она помнит день, когда её убили. 1987 год, август, Переделкино.

Дача пахла малиной и бензином от газонокосилки — у соседей был Дружба, и звук его мотора въелся в тот август навсегда. Ей было двадцать три — та же гладкая кожа, те же длинные пальцы, только мир тогда был серо-зелёным, размытым, с привкусом советского дефицита и обещанием перемен в воздухе.

Перестройка. Гласность. Слова, которые повторяли все, но никто не понимал до конца, как и она сейчас не понимает слов Камарилья, примария, князь Московский.

Он ждал её у калитки.

Иван. Она даже имени его не узнала — назвался Сергеем. Это была первая ложь, но не последняя. Улыбнулся — зубы белые, ровные, не советские зубы, а зубы человека, который никогда не знал нехватки кальция и очередей к стоматологу. Предложил проводить до станции. По дороге нарвал ромашек — полевых, с горьковатым запахом, от которого у неё закружилась голова, хотя голова кружилась от него, от его близости, от того, как он смотрел на неё.

Он рассмешил её анекдотом про Брежнева.

— Брежнев приходит на собрание, садится в президиум, открывает папку, а там — зеркальце. Он смотрится и говорит: Товарищи, я вижу, что некоторые уже начали работу, а некоторые ещё нет. Давайте начнём все вместе.

Она смеялась — громко, открыто, запрокинув голову. Она любила смеяться. Она любила, когда её смешили. Иван — Сергей — смотрел на неё с теплотой, и ей казалось, что она видит в его глазах будущее: долгие вечера, разговоры до

утра, руки, переплетённые на столе в кухне.

Потом он свернул в лес, и Дарья пошла за ним, потому что он двигался так, будто знал лес наизусть, будто деревья расступались перед ним. И, возможно, так оно и было. Лес помнил его. Лес знал, что он — хищник, а она — жертва, и не вмешивался, потому что леса не вмешиваются в дела своих детей, какими бы тёмными эти дела ни были.

Она не кричала. У неё не было времени.

Он остановился на поляне, где мох был мягким, как перина, и солнечный свет пробивался сквозь кроны редкими золотыми монетами. Повернулся к ней. Его глаза изменились — стали глубже, темнее, бездонные. Она увидела в них что-то, отчего шагнула назад, но нога зацепилась за корень.

— Не бойся, — сказал он, и голос его был другим — ниже, вибрирующим, будто говорил не он, а кто-то, сидящий внутри него. — Я дам тебе вечность.

Она не хотела вечности. Она хотела мороженого на ВДНХ, хотела поступить в аспирантуру, хотела ребёнка — мальчика, похожего на отца, с такими же серыми глазами. Но он уже наклонился к её шее, и мир сузился до одной точки — до боли, которая оказалась не болью, а чем-то иным,

горячим и сладким, разливающимся по телу, как водка на голодный желудок.

Последнее, что она помнит перед тьмой: запах малины, доносящийся с дачного участка, и крик птицы — резкий, пронзительный, предупреждающий.

Птица кричала, а Дарья уходила.

iii. Здесь и сейчас: наблюдение

Внизу, на Большой Садовой, редкие прохожие огибают лужи ноябрьского дождя. Дарья видит их — трёх девушек в коротких куртках, мужчину с собакой, пару, целующуюся у витрины закрытого магазина. Она слышит их сердца. Для неё они — как светлячки в тёмной траве: мерцают, привлекают внимание, обещают тепло.

Она думает о Галине.

Дарья видела её вчера — тонкую тень, мелькнувшую в кафе на Арбате, когда Эдуард закончил своё дело. Эдуард — старый вампир, один из самых жестоких в городе, делает обращения для князя, когда тот требует новых солдат. Он не спрашивает разрешения у жертв. Он просто выбирает. Его метод груб, но эффективен — как топор, которым рубят мя-

со. Он не оставляет следов на теле, но разум новообращённого часто даёт трещину, которую потом не заделать никакой дисциплиной.

Но Галину выбрала не Эдуард.

Дарья выбрала её.

Это был её глаз, её кастинг. Три недели она следила за девушкой: как она пьёт кофе по утрам, как поправляет волосы перед выходом из метро, как улыбается, когда никто не смотрит. Дарья сидела в том же вагоне, в трёх станциях от неё, читая газету, которую не видела. Стояла на той же платформе, спрятав лицо за шарфом. Заходила в тот же лифт жилого дома на Профсоюзной, где Галина снимала квартиру.

В Галине была тишина. Не пустая, а наполненная. Такая тишина бывает у озёр перед грозой — когда воздух замирает, птицы замолкают, и всё вокруг затаивается в ожидании удара. И Дарья подумала: она выживет.

Не все выживают. Некоторые после обращения сходят с ума — их разум не выдерживает разрыва между человеком и зверем. Дарья видела таких: их запирают в подвалах особняка князя в центре Москвы, в старом купеческом доме с толстыми стенами, где крики не слышны снаружи. Но она слы-

шит их. Иногда ночами она слышит их сквозь сон — взывания, мольбы, обещания продать душу за каплю крови, за глоток тепла, за возвращение в то время, когда они были людьми.

В подвале сейчас двое. Мужчина, обращённый в 1995-м. Он был банкиром, молодым, успешным, и его разум не выдержал бессмертия — он пытался покончить с собой, но вампира убить сложно. Теперь он сидит в углу камеры и раскачивается вперёд-назад, напевая Подмосковные вечера без остановки. Третий год.

Женщина — её обратили в 2003-м. Она была художницей, писала абстракции в стиле Малевича. После обращения пыталась запечатлеть новое зрение — то, как видит вампир. Нарисовала серию картин, настолько жутких, что князь приказал их сжечь. Художница сломалась, когда увидела пепел. Теперь она рисует пальцем на стене подвала, стирает и рисует снова.

Дарья навещает их раз в месяц. Приносит кровь — в пакетах, донорскую, из банка крови, с которым у Камарильи давний договор. Они не благодарят. Они смотрят на неё глазами, в которых уже нет ничего человеческого.

Она смотрит на них и знает: я могла бы быть на их месте.

iv. Осколок второй: пробуждение, 1987

Пробуждение было холодным.

Дарья открыла глаза, и первым чувством был стыд. Глухой, всепроникающий стыд — за то, что дала себя убить, за то, что пошла за незнакомцем в лес, за то, что не закричала. Стыд висел на ней, как мокрая одежда.

Она лежала на той же поляне. Мох под спиной был влажным — прошёл дождь, или роса, или она пролежала здесь целый день. Небо было тёмно-синим, предрассветным. Иван — она знала теперь его настоящее имя, оно всплыло из тьмы, как утопленник, — сидел рядом, на поваленном дереве, и смотрел на неё.

— Ты не умерла, — сказал он. — Ты родилась заново.

Она открыла рот, чтобы спросить что? и вместо звука из горла вырвалось шипение. Голос сел, будто она кричала несколько часов подряд.

— Не пытайся говорить. Дай крови разойтись.

Он протянул ей термос. Дарья взяла его дрожащими рука-

ми, отвинтила крышку, и запах — тёплый, металлический, плотный — ударил в ноздри. Она поняла, что внутри, за секунду до того, как сделала глоток. Густая, солёная, ещё тёплая. Кровь.

Она выпила всё до дна, и мир стал резким. Каждая травинка — отдельно, каждый лист — с прожилками, каждый звук — пронзительным, как игла. Она услышала, как ворочается крот под землёй в тридцати метрах от неё. Услышала, как бьётся сердце Ивана — медленно, могущественно, как барабан, задающий ритм всему лесу.

— Кто ты? — прошептала она.

— Я твой сир. Твой создатель. Твой учитель, если ты выживешь. — Он встал, отряхнул брюки. — Вставай. Нам нужно успеть до рассвета в город. Здесь ты не можешь оставаться — солнце убьёт тебя, если первые лучи коснутся кожи.

Она встала, и тело слушалось её иначе — легко, пружинисто, будто гравитация ослабла. Лес больше не пугал её. Лес стал её домом — она чувствовала каждое дерево, каждую ветку, каждую нору. Она была частью этого леса, а лес был частью её.

Они пошли к станции. Она шла за ним, как и вчера, но

теперь — иначе. Теперь она знала, что он не человек, и знала, что сама больше не человек. И странно: вместо ужаса она чувствовала облегчение.

Будто всю жизнь ждала, когда кто-то снимет с неё кожу человека и выпустит наружу то, что было внутри.

v. Примария

Дарья не просила эту должность. Её назначили.

Через десять лет после обращения Иван погиб — нарушил Маскарад, убил на глазах у свидетелей, и камилла (совет старейшин) приговорила его к смерти. Дарья присутствовала на казни. Она смотрела, как солнце поднимается над горизонтом, и как её сир, её создатель, тот, кто подарил ей вечность, обращается в пепел на глазах у двадцати вампиров, собравшихся на крыше особняка.

Она не плакала. Она чувствовала пустоту — не потерю, не горе, а именно пустоту, будто из груди вынули орган, о существовании которого она не подозревала.

Князь подошёл к ней после казни. Высокий, седой, с глазами, которые видели падение Римской империи. Он пах ладаном и старой бумагой.

— Ты сильна, — сказал он. — Ты не сломалась, когда видела, как умирает твой сир. Это редкость.

— Я не чувствую ничего, — ответила она честно.

— Это пройдёт. Через сто лет ты будешь чувствовать всё, что вытеснила сейчас. Время — плохой анестетик, примария.

Примария. Она услышала это слово впервые. Она не знала тогда, что оно будет определять её существование на три десятилетия вперёд. Правая рука князя. Та, кто поддерживает порядок среди молодняка. Та, кто выбирает новых кандидатов. Та, кто проводит экзекуции, когда князь не может опуститься до грязной работы.

Примария — не титул. Это функция. Часы, которые всегда показывают правильное время. Нож, который всегда остёр.

vi. Осколок третий: совет, 1998

Она сидит в зале совета в особняке князя на Большой Никитской. Здание — памятник архитектуры XIX века, с лепниной на потолке, с дубовыми панелями, с камином, в кото-

ром горят дрова, хотя центральное отопление работает исправно. Князь любит огонь. Говорит, что напоминает ему о том, что он всё ещё может чувствовать тепло.

За длинным столом — восемь вампиров. Старейшие — те, кто помнит Екатерину Вторую. Средние — те, кто обращён при Николае Втором. Молодые — после войны. Дарья — самая молодая за этим столом, и она знает, что некоторые считают её назначение ошибкой.

— Город растёт, — говорит князь. — Новые районы, новые люди, новые проблемы. Мы должны расширять влияние.

— Или сокращать, — отвечает Варвара, старейшая вампирша в Москве, обращённая в 1763-м. Она выглядит на двадцать пять, но глаза её — два омуты, в которых тонули империи. — Чем больше мы расширяемся, тем выше риск раскрытия. Маскарад держится на том, что нас мало. Сделай нас много — и люди узнают.

— Люди хотят не знать, — возражает князь. — Они хотят верить, что монстров не существует. Мы даём им эту веру.

Дарья молчит. Она слушает. Она учится. Она запоминает, кто за что голосует, кто с кем в сговоре, кто точит нож под столом. Политика Камариллы — это танец на лезвии бритвы,

где одно неверное движение стоит головы.

Она смотрит на Варвару и видит в ней себя через двести лет — если доживёт. Варвара не носит седину. Варвара выглядит так, будто время не имеет над ней власти, и это правда: время не имеет власти над мёртвыми.

vii. Чувство вины

Дарья не спит. Вампиры могут спать, но большинство предпочитает бодрствование — сны слишком яркие, слишком реальные, слишком похожие на правду. Дарья спит раз в неделю, и каждый раз видит одно и то же: поляну в Переделкине, малиновый куст, лицо Ивана, его зубы у её горла.

Иногда во сне она кричит. Иногда остаётся немой.

Она стоит на крыше и думает о Галине. О том, что девушка, наверное, сейчас стоит у окна в чужой квартире и смотрит на Москву, чувствуя голод, которого не может утолить ничем, кроме крови. О том, что Галина, наверное, ненавидит её — Дарью — за то, что выбрала её для этой участи.

Правильно, думает Дарья. Ненавись. Ненависть — хорошее топливо. Ненависть поможет тебе пережить первые годы, когда ты будешь хотеть умереть, но не сможешь.

Она помнит свои первые дни. Голод был невыносимым — не как чувство, а как физическое состояние, как разрывание клеток изнутри. Она пила кровь из пакетов, из банок, из термосов — и каждый глоток был откровением. Каждый глоток возвращал её к жизни, которую она уже не вела.

Но первые три недели она не могла смотреть на людей без желания впиться зубами им в горло. Она ходила по Москве, спрятав лицо за тёмными очками и шарфом, и каждый прохожий был для неё — ходячий источник искушения. Она заходила в подворотни и ждала, пока волна голода схлынет. Сжимала кулаки так, что ногти прорезали ладони, и чёрная кровь капала на асфальт.

Она выжила. Галина тоже выживет.

Или нет. Но это уже не её, Дарьи, проблема. Она сделала выбор. Теперь природа сделает свой.

viii. Осколок четвёртый: первое убийство

1990 год. Дарье двадцать шесть — по паспорту, который ей сделали в Камарилье, и шесть месяцев — по фактическому возрасту вампира.

Она стоит в подворотне на Садовом кольце и смотрит на мужчину, который вышел из магазина. Он пьян. Держится за стену. В руке — бутылка портвейна, горлышком вниз. Он идёт, спотыкается, падает, встаёт, идёт дальше. Ему лет сорок. Его жизнь — работа, получка, выпивка, ссоры с женой. Ничего ценного.

Дарья думает: никто не заметит.

Это первая мысль, которая приходит в голову, и она пугает её тем, как легко она пришла. Будто убийство — это просто математика. Минус один. Плюс еда.

Она идёт за ним три квартала. Он сворачивает в арку, и там темно, и никого нет, и Дарья понимает, что это — момент выбора. Она может развернуться и уйти. Может дожидаться, пока голод утихнет, и купить кровь в пакете в штабе Камариллы.

Или может взять то, что ей нужно.

Она берёт.

Это быстро. Быстрее, чем она думала. Она подходит сзади, касается его плеча, он оборачивается, и его глаза расширяются, когда он видит её лицо — она не знает, что он видит,

но это заставляет его открыть рот. Она вонзается зубами в его горло, и кровь — горячая, солёная, живая — заполняет её рот, её горло, её лёгкие.

Она пьёт, и мир становится правильным. Цвета насыщенными. Звуки музыкальными. Собственное тело — лёгким, как у бабочки.

Она пьёт, пока он не перестаёт двигаться. Потом отбрасывает тело в угол двора, вытирает рот тыльной стороной ладони и идёт домой.

По дороге её тошнит. Кровь выходит обратно, чёрная на асфальте, и Дарья стоит на коленях, и её рвёт, и она плачет, и проклинает себя, и проклинает Ивана, и проклинает ночь, когда она пошла в лес за незнакомцем.

Но на следующую ночь голод возвращается. И она выходит на охоту снова.

ix. Долг

Дарья поворачивается спиной к городу. На крыше — пусто, только вентиляционные трубы и антенны. Она садится на край, свешивает ноги в пустоту. Если бы она была человеком, у неё бы закружилась голова. Но она не человек.

Она достаёт телефон — чёрный прямоугольник, который всегда лежит в кармане. Четыре пропущенных от князя. Она перезванивать не будет. Князь знает, где она, когда она нужна.

На экране — фотография Галины. Дарья сделала её три недели назад, когда следила за девушкой. Галина сидит в кафе, читает книгу, и свет падает на её лицо так, будто кто-то намеренно выставил освещение. Она красива не той красотой, которую замечают сразу, а той, которая проявляется постепенно — как рисунок на старом пергаменте, который становится видимым только на свету.

Дарья смотрит на фотографию и чувствует — что?

Вину? Нет, она давно перестала чувствовать вину. Вина — привилегия живых, у которых есть время на покаяние.

Гордость? Возможно. Она выбрала хороший материал.

Жалость? Нет. Жалость — это роскошь, которую примария не может себе позволить.

Сожаление? Да. Сожаление — это то, что остаётся, когда вина уже выгорела. Сожаление о том, что мир так устроен:

чтобы создать новую жизнь, нужно сначала отнять старую. Что одни должны умирать, чтобы другие могли жить. Что цепь питания не заканчивается на верху пищевой пирамиды — она просто уходит в темноту, где нет дна.

х. Осколок пятый: встреча с князем, 1987

Первая встреча с князем состоялась через неделю после обращения.

Иван привёл её в особняк на Большой Никитской, и Дарья помнит, как дрожала, поднимаясь по лестнице. Не от страха — от благоговения. Дом пах историей: воском, старой бумагой, деревом, которое помнило прикосновения плотников XIX века. Люстры были хрустальными, и каждая грань отражала свет десятками зайчиков.

Князь принял её в библиотеке. Он сидел в кресле у камина, и пламя освещало его лицо — красивое, но неживое, как маска. Ему было за пятьсот лет, но выглядел он на сорок. Глаза — светлые, почти прозрачные, без зрачков.

— Иван хорошо о тебе отзывается, — сказал князь. — Он говорит, что ты сильна духом.

— Я не знаю, сильна ли, — ответила Дарья. — Я знаю,

что напугана.

Князь улыбнулся, и улыбка не сделала его теплее.

— Страх — это хорошо. Страх — это начало мудрости. Те, кто не боится, умирают быстро — или убивают других быстро. Ни то, ни другое не ведёт к долголетию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.